

БОГОСЛОВСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАДЕЖДЫ В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ»

Н.В. ЛИКВИНЦЕВА

В десятитомном «повествовании в отмеренных сроках» «Красное Колесо» речь идет о гибели России: автор, как врач-диагност, ставит диагноз и описывает начало болезни, постепенное и неуклонное разлагание живого – сползание страны в революцию, в хаос, в бра-тоубийство, в кровавый кошмар «Архипелага ГУЛаг». Сама масштабность эпопеи в ее попытке показать все социальные слои дореволюционного общества, все неисчерпаемое богатство «Руси уходящей»¹, сам замысел автора стать живой «памятью народа»², его голосом, уже предопределяет то чувство все возрастающей боли, с каким мы читаем эту книгу. Слова «упускание», «сползание» становятся ключевыми: читатель с болью и ужасом следит за упусканием каждой новой попытки спасти Россию. В финале гибель уже ясно видима как неизбежная, но почему-то вместе с этой растущей болью и ужасом неизбежности растет надежда, странная надежда «сверх надежды»³, ярким светом которой и заканчивается книга. Один из главных и любимых солженицынских героев полковник Воротынцев стоит на Валу и смотрит на распростертую внизу, бесконечно дорогую и уже обреченную страну:

«В этом холоде подступающего, в этой бесповоротности – свое новое облегчение.

Кажется: все – хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны? И не знаешь, где быть, где стать?

А плечи – опять распрямились. Нет, впереди, – что-то светит. Еще не все мы просадили.

Но – на какой развилке спешить? И уложить себя – под какой камень?»⁴

Попробуем всмотреться в основания такой надежды.

Последние строки эпопеи (взгляд Воротынцева вниз, с обрыва высокого Вала) зеркально отражают самые первые строки повествования, когда взгляд уходит горизонтально вверх: гора, Хребет, высится «такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных» (1, 7). Такой взгляд сразу задает вертикальную ось координат, добавляет ее к горизонтали исторической, земной действительности. Течение земной истории Солженицын описывает с безжалостной скрупулезностью историка, с введением в повествование множества исторических лиц, с отсылкой к документам и газетам того времени, даже с приведением военных карт: историк продумывает и оценивает причины каждой новой исторической неудачи, каждую

новую возможность избежать катастрофы и те причины, по которым и эта возможность оказывается упущенной. В такой исторической плоскости катится смертоносное «Красное Колесо» (его образ то и дело возникает в эпосе, словно прошивая собою ткань повествования): это круговое, а значит тупиково-безвыходное движение, «Круговой Обман» (10, 553), бесовские «завихрения» истории, отсылающие нас и к пушкинскому стихотворению «Бесы» («Мчатся тучи, выются тучи...») и, конечно, к «Бесам» Ф.М. Достоевского. Но самое интересное здесь, что противостоящая «духу низости» (10, 527) и вращению безжалостного Колеса истории «онтологическая вертикаль» (выражение П.Е. Спиваковского, уже успевшее стать термином⁵) выстраивается не просто как взлет души, не просто как движение от онтологического низа (колодец, нижняя точка оползня) вверх. Оказывающийся в фокусе авторского взгляда «строй души» отдельных людей, участников исторических событий, сложнее и многозвучнее перекликается и с историей: чтобы не упростить эту живую сложность опять-таки к месту оказывается огромность замысла эпоса, ее масштабность. Душа не просто движется вверх «изволоком» и «крутым подъемом» (4, 570), но, чтобы «усовершенствовать строй своей души» (1, 405), нередко оказывается нужно сначала противоположное вроде бы движение от верха к низу, когда «душа упадает» (4, 464), когда пласты души начинают «медленно-медленно сползать» (1, 320), чтобы затем «окончательно рухнуть» (1, 448). Ведь именно такой странный обвал-спуск (на дно душевного колодца, отнюдь не совпадающий с нравственным падением) и уравнивает собою тот оползень, в который оказалась вовлечена Россия, станет залогом обратного движения, от низа вверх, ввысь. Такая «эпопея души», разворачиваемая в «Красном Колесе» в ракурсе заданной автором «вертикали», и рождает в итоге ту странную «надежду сверх надежды». Для ее анализа потребуются уже не историко-психологические, но богословские термины.

1. Жертва как путь теозиса

Странный обвал-оползень пластов души, о котором мы упомянули выше, связан с фигурой генерала Самсонова, одного из главных участников и виновников катастрофы Самсоновской армии. Эта катастрофа подробно описана в «Августе Четырнадцатого»: именно с нее, по мнению Солженицына, и началось неостановимое вращение Красного Колеса, упускание страны в революцию. Генерал гибнущей армии постепенно (по мере сползания пластов его души) осознает свою вину, начинает видеть масштаб катастрофы и меру своей ответственности. Именно об этом, одном из самых виновных в трагедии России человеке, Н.А. Струве в статье «Спор об “Августе Четырнадцатого”» заметил: «Вслед за Достоевским, Солженицын не побоялся вписать образ Христа в героя романа, к тому же в судьбу

русского генерала»⁶. Второй человек, с которым в эпопее начинает происходить то же самое, — это уже не просто один из самых виноватых, но «главный виновник»: царь Николай Второй⁷. В этих двух людях, сполна причастных к краху России, постепенно и, пожалуй, неожиданно для самого автора, словно не из авторского замысла⁸, а просто из самой логики событий, из самой верности автора той правде, которую он безошибочно чувствует и передает, в этих двух людях начинает вписываться Христос. И генерал гибнущей армии, и развенчанный русский царь шаг за шагом начинают преображаться и обоживаться, повторять собой облик и путь Самого Христа. Так историческая эпопея Солженицына вводит нас в сердцевину святоотеческого богословия: в проблему теозиса.

Идея теозиса, обожения человека, довольно рано появляется в святоотеческом богословии, она присутствует уже у Ириния Лионского, а затем и у восточных отцов IV в. Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского. Эта емкая формула связывает мысль о спасении человека с дерзновенным замыслом о его предназначении, возможным в свете Христова Боговоплощения: Бог во Христе стал человеком для того, чтобы человек стал Богом⁹. Идея теозиса прочно входит в православное представление о человеке и в православную сотериологию: так, прот. Сергей Булгаков, пытаясь в своей книге «Православие: очерки учения Православной Церкви» кратко резюмировать самую суть православия, в главе «Вероучение» то и дело возвращается к этому термину. Итак, эта сердцевинная для православного богословия мысль вдруг начинает разворачиваться в гениальном историческом романе-эпопее о русской революции. Каким же образом?

Вглядимся в образ генерала Самсонова. Первое, что мы замечаем в командующем Второй армией, — его неспособность поспеть за событиями: «Что ни ночь — бессонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта и посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в голове постоянный шумок, мешавший соображать» (1, 84). Он и сам осознает наличие этой почти физически ощущаемой преграды для мысли и зрения, пелены, пробить которую не представляется возможным, несмотря на искреннее желание прорваться к правде и даже — несмотря на молитву о таком прорыве. К этой теме слепоты мы еще вернемся. Пока же заметим, что и Самсонов, и царь даны нам уже с этой слепотой — как бы с неким врожденным дефектом, от которого оба пытаются избавиться на протяжении всего повествования, сначала безуспешно, сначала лишь все более погрязая в этом пороке, оказывающемся замкнутым кругом: порожденные слепотой ошибки лишь все больше увеличивают слепоту, а значит, влекут за собой новые ошибки. Так, генерал Самсонов снова и снова делает это усилие прозрения, внутреннее движение к нему, и все четче и

четче видит лишь собственную слепоту. Ощущая свое теперешнее, сейчас разворачивающееся время как пик, как «die höchste Zeit»¹⁰, «только не понимал он, где этот пик торчит, и в какую сторону толчок надо делать. Не мог он ясно охватить все положение армии и указать решительное действие» (1, 319). Этот же паралич зрения осознает в себе и Николай Второй. Нерешительный от природы, он каждый раз мучительно взвешивает каждое решение, всем своим существом стремясь к добру и благу для России, стараясь угадать волю Божью относительно каждой ситуации, и опять не угадывая, не видя, совершая ошибку за ошибкой: «Иногда, скалывая лед в саду Зимнего, или во время верховых прогулок под Царским, Николай так напрягался умственно, сопоставляя противоречивые мнения собеседников и подчиненных, что передайся его напряжение в лом — тот бы заплясал как бешеный, а пройди и отзовись его усилие в лошади — она бы захрапела, понесла» (2, 374). Величина такого усилия пропорциональна лишь его тщетности.

Когда же эта воля к обретению зрения перестает быть тщетной? Лишь в тот момент, когда человек начинает видеть собственную слепоту, смиренно признает свою несамодостаточность и ущербность. Возникает ощущение, что «все пропало», все рухнуло на самое дно, в низину низин. Мы уже не на высоте, но в самом низу: онтологический «хребет» вздымается как недостижимая своими силами высота. И неожиданно оказывается, что только здесь, только в этом завершающемся спуске, мы вдруг начинаем догонять события, которые шли помимо нас, которые давно уже, минуя нас, скатывались колесом в эту самую яму. Такой спуск начинает генерал Самсонов: «какой-то пласт его души с какого-то пласта как будто сшибся и стал помаленьку, медленно-медленно сползать» (1, 320)¹¹. Именно с этого момента, с этой ямы, и начинает вписываться в неудачливого генерала Христос. Самсонов слышит после молитвы пророческий голос: «Ты — успишь...». Он пытается понять смысл, вступить с голосом в диалог: «Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И от света сразу прояснился смысл: успишь — это от Успения, это значит: умрешь. Прилил холодный пот наяву» (1, 326). Этот завершающий молитву холодный пот уже подобен кровавому поту Христа после Гефсиманского моления. Этот пот приносит с собой бесстрашие, ясность и освобождение. Самсонов, переброшенный на этот фронт с другого, сразу не одобрявший неудачного плана кампании, но вынужденный ему подчиняться, перестает отстаивать свою правоту и тем самым растрчивать силы на мелкие дрязги и перекладывание вины. Начиная видеть свою вину в общей совокупности вин, он перестает судить других, очищая этим зрение и переводя его на главное. Обращение внимания внутрь себя подготовлено еще и тем, что его, генерала Самсонова, личная судьба в этом оползне в самый низ катастрофы

оказывается сплетенной с судьбой России, его собственная гибель, гибель его армии, становится частью ее гибели: «День Нерукотворного Образа идет вослед за днем Успения. Эту полночь – с Успения Божьей Матери на Христов Нерукотворный Образ, генерал Самсонов нынче проводил в седле, отступая. До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения – и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос. Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России» (1, 417).

И вот с этой разделенности общего жребия в богооставленности ступает генерал Самсонов на путь жертвы как предельного отречения от себя, от всех одежд своего звания, положения, характера, начинается кенозис, постепенное и необратимое опустошение, умаление бывшего генерала и бывшего главнокомандующего. И именно такой кенозис переходит в теозис: рождающийся в Самсонове, на наших глазах, Христос Своим Рождеством уже перечеркивает, отменяет и наше знание о богооставленности России. Самсонов, прошедший и через свой «вход в Иерусалим» – праздничное прощание с войсками, – прошедший и через предельное одиночество, и через позорное положение «тележного ездока» (1, 448), которого будто везут на казнь, сбрасывает с себя, одну за другой, все тяжести своего Я, возвращаясь к тому ребенку в себе, который был им уже почти забыт. В этом труде кенозиса он становится «агнцем семипудовым» (1, 423), добровольно отдающим себя на заклание за всех тех, кто с ним связан общим облаком вины, за невинно убитых, за всех, кто еще будет убит, за Россию, за жизнь мира. На пределе умаления, перед самым выстрелом, который должен зачеркнуть его неудавшуюся, виноватую, искупаемую жизнь, он видит звездочку: «Опустясь на колени, на теплые иглы, не зная востока – он молился на эту звездочку» (1, 455). Так кончается жизнь генерала Самсонова – сияющей звездой Рождества.

К теме Рождества мы еще вернемся, а пока проследим, как меняется в ходе повествования образ еще одного героя, данного в ракурсе теозиса: царя Николая Второго. Мы уже говорили, что автор считает последнего российского царя не просто одним из виновников катастрофы, но «самым виновным». Постепенно начинающееся вписывание Христа в Николая Второго настигает нас как некоторая неожиданность: автор как будто сам не ожидал такого поворота событий, будто сам захвачен им врасплох. Увлеченный личностью П.А. Столыпина и его идеями, Солженицын с болью рисует, как царь предает своего умнейшего министра, как даже не подходит к постели умирающего, чтобы получить от него последнее напутствие. В длинной главе второго тома дан внутренний монолог царя, показана его жизнь внутри самой этой жизни: с его постоянной нерешительностью, с искренней верой и стремлением к добру, но с полной неспособностью видеть,

управлять своей жизнью и своей страной. Длинноты этой главы словно усиливают собою мучительность нерешительности, заставляют и читателя приобщиться к ней: именно через нее Россия оказывается свергнутой в катастрофу революции.

И вот, наконец, в сам момент свершения катастрофы, в момент подписания отречения от престола, с царем совершается какая-то перемена. Он все так же нерешителен, он и здесь терзается своей неспособностью видеть, какое решение будет правильным и может принести благо России. Но свое отречение он воспринимает как жертву — жертву собой ради России, ради того, чтобы предотвратить худшее кровопролитие. «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России. Посему я готов отречься от престола» (6, 621), — пишет он в манифесте. И с этой жертвы начинается путь кенозиса, предельного умаления бывшего царя, переставшего быть царем, опустошения, стряхивания с себя всех своих личин и качественных проявлений, всего того, чем он был до сих пор. Как и Самсонов, он возвращается к тому ребенку в себе, который был забыт и задавлен всеми последующими наслоениями его Я, а теперь найден и этой находкой возвращает саму способность видеть, понимать и быть понятым: «Мы — не могли разгадать Спасителя, но Он — понимал нас сразу, до разъема, и во всем — сделанном, подуманном, упущенном. И от этого полного мгновенного понимания ощущаешь себя вдруг — ребенком, слабым, но защищенным. И под Его рукой — плакал, плакал отрекшийся император, и вся обида невысказанная, вся боль к себе неумелому, вся тоска безвыходная и даже весь ужас — выхлестывали из него, облегчая» (6, 744). Лишенный прежних одежд царского звания и положения, защищавших его от мира, и, как оказалось, и от самого себя, царь становится беззащитно раздетым: «А был он теперь — особое пустое холодное место, выставленное на позор и насмешку всем, кто знал его в прежней жизни... Ощущение было как будто раздетости или измазанности. Чего-то очень унижительного» (7, 186). В такой умаленной, обнищавшей, до состояния ничто сведенной человечности и начинает свое рождение Спаситель. Судьба царя огненными моментами совпадений и приобщений начинает вписываться в евангельский рассказ о Страстях Христовых. Словно поцелуй Иуды горит на нем поцелуй Рузского, этого похожего на злобного хорька генерала, в момент подписания отречения («сердце изворотилось при целовании этого зверька с оловянными очками» (6, 620)). Как Христос, он познает предельное одиночество, предательство близких, бегство и оставленность теми, кто клялся в верности и причислял себя к его друзьям (уже с поезда начинают сбегать придворные, стараясь незаметно вынести на станциях свои вещи). Как Иисус был выставлен Пилатом перед толпой, кричащей: «Распни Его!», так и царь позорно «предъявлен» комиссару

Совета рабочих депутатов (7, 737). А вот уже и кричащие толпы празднично любопытных собираются перед царскосельской оградой: «А толпа еще аукала и кричала» (10, 248). И как Тот, Кто просил Отца Своего простить им, «ибо не ведают, что творят», так и Николай раскрывается навстречу насмешкам и улюлюканью, не может не протянуть руки, не кивнуть, не простить: «Это все они совершали — по неведению» (8, 279). Царь молится за сместившее его Временное правительство, молится за Россию. И даже губка с желчью появляется в повествовании (6, 747). Это постепенное вписывание образа Христа в никчемного царя — вдруг сближает Николая со всей Россией, вдруг преодолевает ту бездну непонимания, которая лишь росла, все больше и больше отделяя царя от его страны, общества и народа. Теперь они встречаются на общероссийской Голгофе: «Начиналась Крестопоклонная неделя. Крест голгофских страданий, вынесенный в центр храма, становится в центр мира» (7, 312). Именно Крестом (общим — и для себя, Николая, и для России) заканчивается последнее упоминание царя в «повествовании в отмеренных сроках»: «Господи, Господи, что же готовит Твое Провидение нашей бедной России?.. Да будет воля Божья над нами! Записал так в дневник, и после восклицательного поставил Крест» (10, 253): дальнейшая судьба Николая Второго и его семьи известна каждому читателю солженицынской эпопеи так же хорошо, как и неразрывная связь Креста и Воскресения.

Итак, добровольная жертва как путь самоумаления и следования за Христом, соучастия в Его Страстях и Крестной смерти, оказывается путем, ведущим к Воскресению, путем выхода и надежды¹². Только в этой огненной точке человек начинает совпадать и с Богом (путь теозиса), и со своей страной (участие в общероссийской Голгофе). Только здесь история перестает быть бесплодным вращением Колеса и приобретает смысл: это титаническое усилие по претворению повествования о крахе и гибели, о наводнении бессмыслицы, в осмысленную историю как путь, как «дорогу» (именно такой образ предлагает мудрец Варсонофьев), наблюдаемое на всем протяжении эпопеи, в самом его разворачивании, напрямую связано с вопросом о роли жертвы, о «напрасности» или не-напрасности жертв. О невинно убитых в 1914 г. думает и молится генерал Самсонов, понимая и принимая и свою вину и ответственность за их смерти; темой напрасности/не-напрасности этих жертв и ответственности за них мучается беспрестанно Воротынцев. Лучшие герои эпопеи готовятся своей жертвой, своей решимостью на нее сделать и эти невинные жертвы не напрасными: погибнет в 1945 (так предсказано ему) полковник Воротынцев, недолговечность своей жизни предчувствует Саня Лаженицын, расстрелян будет инженер Ободовский, убит Шингарев («закланец нашей истории» (5, 37)), «свет жертвы» уже виден на лице Ярика Харитоновна (8, 91). Вспомним, что Солженицын, становящийся

в «Красном Колесе», главной книге всей своей жизни, голосом народа, осмысляющего свою историю и в этом осмыслении ищущего путь из исторического тупика, уже стал до этого голосом миллионов жертв «Архипелага ГУЛага», жертв того Красного Колеса, которое здесь набирает обороты. Служители Колеса тоже думают о жертвах, не о собственных конечно, но о тех, кого они готовы в жертву принести, ведь, по мнению Троицкого, «человечество — движется вперед жертвами» (10, 548). Линии добровольной жертвы как пути тезиса противостоит анти-тезис революции, соединяющий богоборческое начало с античеловеческим: искусственный псевдо-рай на земле можно населить лишь послушными псевдо-людьми, окончательно лишенными человечности. Вопрос о не-напрасности жертв требует антропологического разрешения.

2. Антропология в свете Рождества

Проблема человека — одна из центральных в творчестве Солженицына, то, что интересует его прежде и поверх всего: в его произведениях человек ставится в самые разные, часто экстремальные условия, чтобы в столкновении со смертью, с лагерной реальностью, с раковым диагнозом — проверить себя, выявить самое ядро человечности в человеке. Нарастание революции в «Красном Колесе» рисуется как картина постепенного расчеловечивания человека, скатывания его к звериной безликости толпы и массы. Гибель России (сквозной сюжет эпопеи) показана именно как антропологическая катастрофа. Проступание жестокости на лицах опьяненной революционной веселостью толпы наблюдает в «Марте Семнадцатого» арестованный Игорь Кривошеин: «Как будто с известного антропологического, психологического, национального, сословного типа — сдернули верхнюю кожицу, и у всех сразу проступила жестокость» (6, 97). И впечатление Шульгина: «Все лица толпы стали сливаться для него в одно гнусно-животно-тупое выражение» (6, 419). Разлив революции дан как карнавализация, как превращение всех участников действия из живых людей в нереальных, призрачных актеров, в маски и личины¹³. Предельным примером концентрации выхолощенной человечности, анти-человеческого начала становится Ленин, он показан уже почти как не-человек, как «какая-то мощная машина», сгусток пустоты, через который действуют демонические силы: «...дуло через него как через трубу — и подхватывало лететь!» (9, 77).

Бинарной оппозицией такому расчеловечиванию становится рождение и становление человека: антропология выстраивается под знаком Рождества. Вспомним, что звездочкой Рождества была отмечена в «Августе Четырнадцатого» смерть генерала Самсонова. Не этот ли свет светит в финальных размышлениях Воротынцеву на Валу: «...что-то светит»? Финальная тема Рождества дана встречей любимых

героев Солженицына, прототипами которых стали родители автора: Ксении и Сани Лаженицына. Встреча их описана как «чудо» (и это одно из самых явных чудес в эпопее¹⁴), ее плодом должно стать рождение сына, о котором герои уже внутренне знают, говорят о нем, «как уже о сущем» (10, 374). Не обходится в этой рождественской истории и без фигуры Волхва, мудреца-звездочета: «Звездочетом» назвали Саня и друг его Котя философа, мыслителя, одного из самых «зрячих» и пронизательных героев эпопеи, старика Варсонофьева (его прототипом был философ П.И. Новгородцев), в уста которого автор вкладывает самые пронзительные прозрения о смысле истории и о назначении человека. Именно к звездочету Варсонофьеву и приходят за напутствием в финале Саня и Ксения.

«Звездный» мотив также получает свое развитие в «Красном Колесе»: звездное, «живое» небо (1, 198) то и дело возвышается над землей со всеми ее историческими катаклизмами, как свидетель и эталон правды, как та «вертикаль», которая сразу была задана в повествовании. Интересен здесь космический акцент такого мотива, особенно явственно звучащий в разговоре Нечволодова и Смысловского в «Августе Четырнадцатого». Разговор протекает под звездным небом и переводит земные события (война) в космический масштаб истории Вселенной: «Придет час — наше теплое одеяло износится, и всякая жизнь на Земле погибнет» (1, 198). К расширению масштабов в своей попытке осмыслить на глазах совершающуюся российскую историю стремится и Варсонофьев, стараясь «принять самую высокую точку зрения, откуда русская история последнего века увидится не сама по себе, а в единой концепции с Западом... а только через земные события мы можем вести и космические битвы» (10, 551). В эту же линию входит и парадоксально-пророческий сон Варсонофьева о мальчике-Христе с бомбой в руках, от которой вот-вот должен взорваться мир, прозвучать «космический» взрыв (8, 573). Космический характер взрыва переводит историю Земли в более широкий масштаб: от космических взрывов берут свое начало новые галактики, с «большого взрыва» началась когда-то наша Вселенная. Мальчик-Христос с бомбой — одновременно и напоминание о Кресте и об участии человека в Крестной смерти, в той общероссийской Голгофе, о которой в эпопее все время идет речь, и память о Рождестве (не грозный Судия, но «мальчик с дивно светящимся лицом»), о хрупкой, беззащитной человечности ставшего человеком Бога.

Собственно, только такая «рождественская» уязвимость и будет начальным условием подлинной человечности: вспомним последовательный кенозис генерала Самсонова и Николая Второго, спустившихся до беззащитного ребенка в себе, до предельной уязвимости, чтобы оттуда начать восхождение теозиса. Так в самом начале повествования «беззащитно почувствовал Саня Лаженицын, что эту

войну ему не отвергнуть, не только придется идти на нее, но подло было бы ее пропустить» (1, 18). Так попавший в аварию Шляпников «очнулся на больничной постели – как будто давним ребенком... Лежал на койке словно меньше и слабей самого себя. И будто – заново было жить начинать, а пойдя попробуй» (10, 191). Такая антропология полна надежды: любой человек, стоит ему сбросить с себя привычную броню и стать уязвимым, может начать меняться, рождаться заново. Любой, если он реален, если живет своей собственной, а не воображаемой жизнью. Любимые герои Солженицына (Саня, Воротынцев, Ксения, Шапошников, Ободовский, Ликоня, Варсонофьев, Вера Воротынцева, Ярик Харитонов и др.) могут ошибаться и грешить, страдать и изменять, метаться в растерянности и не знать, что делать, оказываться виноватыми, пытаться исправить вину и вновь ошибаться: так и происходит движение их жизни, становление личности, рост и усовершенствование «строя своей души» (1, 405), так начинается постепенное рождение в каждом нового человека¹⁵. Им противоположны герои, которые не меняются и не способны (по крайней мере, в момент повествования) к изменениям, закованные в свои сложившиеся представления о себе и о жизни, в свою идеологию: жена Воротынцева Алина (она мучается, страдает, но видит лишь вину другого, абсолютно не видя себя реальную, оставаясь такой же маской и личиной, как и революционные толпы: «Она – как роль читала» (10, 260)), Керенский, и в пределе своем, конечно, Ленин (он живет, как во сне: неслучайно, в его разговоре с Парвусом так трудно разобрать, что сон и воображение, что реальность, сама граница размыта). Абсолютно противоположна такой идеологической твердокаменной неизменности – работа покаяния как труд по изменению себя и своей жизни (метанойя). Вспомним «полую трубу» Ленина, через которую обуревают Россию бесы революции. Анти-Ленином в этом отношении оказывается Зина Алтанская, кающаяся грешница: из любви к Федору Ковыневу она рушит чужую семью, рождает ребенка, не приходит попрощаться к умирающей матери, ради свидания оставляет младенца и тот умирает в ее отсутствие. Зина – единственный персонаж в эпопее, в образе которого прямо упомянуто веяние Святого Духа: в детально прописанной сцене покаяния, подлинной исповеди, подобной прохождению через смерть: «...она была и прижата виском к распятию, и бездыханна. Но – другое дыхание, но Дух – плывал над ней и трепетанием проникал в нее» (4, 574).

Один из таких «рожденвенских» даров, неотделимых от тех внутренних изменений, которые начинают происходить с человеком – обретение зрения. Здесь тоже две противонаправленные линии в движении сюжета: постепенное сгущение слепоты¹⁶, последовательное ослепление людей мнимой праздничностью революции, отказ видеть, – и медленное и трудное прозревание, рождение зрения у

лучших, несущих в себе надежду героев, начинающих видеть свои грехи и ошибки, свою вину (а вина за падение России лежит на всех, на каждом¹⁷) и саму линию движения жизни и истории: «Есть ли что-нибудь на свете сильнее — линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам» (10, 377). Слепота рождает экзистенциальную расщелину между кажущимся благим мотивом действия или кажущимся незначительным отказом от действия и их губительными последствиями. «Красное Колесо» таким образом поднимает центральную для этики XX в. проблему банализации зла, «посредственности как социальной опасности», связи зла с отказом человека от ответственности, от выбора и поступка (и в итоге, от самой жизни)¹⁸. Революция завоевывает Россию маленькими предательствами, маленькими не-деяниями и уклонениями от ответственности и долга вроде бы неплохих людей (царь до отречения, Алексеев, Родзянко, даже Воротынцев до своего финального шага решимости). Этический кодекс человека живущего, человека надежды, по Солженицыну, прост: решимость и верность в малом: «Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своем месте... Через это бы мы спаслись. Но сегодня не любят таких слов, как долг, обязанность, жертва» (10, 529). И еще большую надежду дает явно проведенная в эпопее тема растущей консолидации таких сил добра, их новой, рождающейся, хрупкой общности, потому что еще одно этическое условие жизни как противостояния мертвечине распада — способность увидеть другого (все то же зрение), способность любить.

Эта новое, наощупь искомое единство сразу становится противодействием революции как силе предельной атомизации людей, противодействием их превращению в безликую толпу с нарушенными между людьми связями, в гоббсову «войну всех против всех» (10, 528). Солженицын же устами Варсонофьева говорит об истории как о всеобщей связности: «Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи» (1, 406). Поэтому такое важное место занимает в эпопее тема встречи: каждая подлинная встреча уже некоторая победа над распадом и хаосом, уже залог движения истории. Встречаются на глубине, по-настоящему, только живые, меняющиеся личности: мы уже говорили о чуде встречи Ксении и Сани, встречаются Воротынцев и Благодарев, Саня и отец Северьян, Саня и Варсонофьев. Образцом и образом такой солидарности становится церковное, литургическое единение людей (сцена Крестопоклонной службы, в которой действует «соединяющая сила, которую действительно ничто на Земле не может сломить» (7, 287)). Только такая подлинная встреча, «сплоченность»¹⁹ людей, каждый из которых не винтик, но целостная, живая личность, своей собственной жизнью восстанавливающая, устрояющая «онтологическую вертикаль»

(а значит, готовая на шаг и поступок, готовая брать ответственность, в пределе, готовая к жертвенной смерти)²⁰, и может противостоять мертвящему движению Красного Колеса. Оно продолжает катиться, Россия гибнет на наших глазах, но на наших же глазах завязываются узелки новой жизни, новой России, новой «национальной личности» (4, 472), прочно связывая тему смерти с темой Воскресения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Картина Павла Корина «Русь уходящая» упоминается в солженицынском романе «В круге первом».

² См.: «Я хотел быть памятью. Памятью народа, которого постигла большая беда» (*Солженицын А.И.* Интервью журналу «Ле Пуэн» // *Солженицын А.И.* Публицистика. В 3 т. Т. 2. – Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 323).

³ См. об Аврааме: «Он сверх надежды, поверил с надеждою...» (1 Рим. 4 : 18).

⁴ *Солженицын А.И.* Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках. В 10 т. Т. 10. – М.: Воениздат, 1993 – 1997. С. 555. Далее все цитируется по этому изданию с указанием в скобках тома и страниц.

⁵ См.: *Стиваковский П.* Символика Вавилонской башни и мирового колодца в эпоху А.И. Солженицына «Красное Колесо» // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2000. № 2. С. 27 – 39.

⁶ *Струве Н.* Православие и культура. – М.: Русский путь, 2000. С. 485.

⁷ Ср.: «Я, проработав над историей революции 50 лет, с огорчением убедился, что Государь Николай II хотя и был, несомненно, редкий пример христианина на троне, но он же был первый и основной виновник всего, как рухнуло в России, главный виновник» (*Солженицын А.* Беседа с Витторио Страда. 20 окт. 2000 // Между двумя юбилеями (1998 – 2003): Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына. Альманах. – М.: Русский путь, 2005. С. 37).

⁸ См. ответ писателя на вопрос, касающийся личной трагедии Самсонова в Первом узле: «Вы знаете, это не был замысел, это получилось само. Я задумывал только Самсоновскую катастрофу, а когда я стал описывать, то фигура Самсонова сама стала вырастать, вот эта его собственная трагедия. Она никогда не была задумана...» (*Солженицын А.* Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве. Париж, март 1976 // *Солженицын А.И.* Публицистика. В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. С. 432).

⁹ Подробнее см., например: *Диоклетиан Каллист (Уэр), епископ.* Православная церковь. – М.: ББИ, 1997. С. 239; *Евдокимов П.* Православие. – М.: ББИ, 2002. С. 91. См. также: *Флоровский Г.* Восточные отцы Церкви. – М.: АСТ, 2003. С. 67 – 257.

¹⁰ См.: «Сквозь пелену и погуживание, мешавшие Самсонову соображать все эти дни, а сегодня особенно, вдруг прорвалось и выплыло не нужное что-нибудь, а – гимназическое, из немецкой хрестоматии, фраза одна: “Es war die höchste Zeit sich zu retten”. Статья была о Наполеоне в горящей Москве, но ничего из нее не запомнилось, а эта фраза всегда была в памяти из-за странного сочетания “die höchste Zeit” – высшее время. Будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись» (1, 319). Нем. фраза переводится в примечании: «Было крайнее время спастись». Солженицын обыгрывает буквальное значение немецкого выражения; в более точном переводе – «самое время»; вспомним сразу горный пик, Хребет, с которого начинается повествование.

¹¹ Ср. ощущение Николая Второго при известии о том, что Царскосельский гарнизон перешел на сторону восставших: «Сердце Государя обронилось во мрак. Затмился свет, рухнула опора, державшая эти дни» (6, 384).

¹² О теме подлинной, Крестной Пасхи в «Красном Колесе» в ее противостоянии теме анти-пасхи революции, уже не раз писали исследователи. См.: *Спиваковский П.Е.* Система онтологических символов в эпопее «Красное Колесо» // «Красное Колесо» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Междунар. сб. науч. тр. – Благовещенск: изд-во БГПУ, 2005. С. 51 – 77; *Немзер А.С.* «Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения. – М.: Время, 2010. С. 220 – 226, 265 – 266; *Смыковская Т.* Духовное крушение или «наитие Святого Духа»? (Пасхальные мотивы в «Красном Колесе») // Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к «Красному Колесу». Материалы Международной научной конференции (Москва, 7 – 9 дек. 2011 года). – М.: Русский путь, 2013. С. 205 – 215.

¹³ Вот первомайская демонстрация, увиденная глазами Сусанны Корзнер: «Сусанне приходилось видеть западные масленичные карнавалы. И сегодняшнее чем-то походило на те – что все были как будто ряженые, что ли, не сами собой?» (10, 19). А вот как видит демонстрацию Воротынцев: «...это были – глупые, слепые актеры, изневольнo игравшие бессмысленную пьесу, за которую и они все будут платить, как и мы все – вместе с Россией» (9, 364 – 365).

¹⁴ Анализ темы ложного и истинного чуда в «Красном Колесе» см.: *Немзер А.* «Красное Колесо» Александра Солженицына: опыт прочтения. – М.: Время, 2010. С. 311 – 333.

¹⁵ Ср. у святителя Льва Великого в «Словах на Рождество Христово»: «Итак, всякий человек из сонма верных возрождается во Христе: прерывается цепь первородного греха и, заново рождаясь, превращается этот человек в нового человека (Кол. 3 : 10) и принадлежит уже не потомству плотской части [людей], а роду Христа, Который затем стал Сыном человеческим, чтобы мы могли превращаться в сынов Божиих» (*Лев Великий, свт.* Слова на Рождество Христово. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 2000. С. 43 – 44).

¹⁶ Ср. сон Варсонофьева об астральной телеграмме и причине слепоты: «...путает нечистая сила: не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие» (8, 7). И Воротынцев: «Как ослепли! всех закручивает в ту же заглывающую неохватную воронку... Никто не хочет видеть?!» (9, 101).

¹⁷ Ср. Воротынцев: «Но – уже не время нам раскладывать, кто был прежде виноват, и кто прав, и через кого это прикатило. Все мы, все мы губили Россию вместе, каждый по-своему» (9, 365).

¹⁸ См., например: *Арендт Х.* Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме. – М.: Европа, 2008; *Седакова О.* Посредственность как социальная опасность. – Архангельск, 2006; *Бонхёффер Д.* Сопrotивление и покорность. – М.: Прогресс, 1994. С. 25 – 48.

¹⁹ Воротынцев на Валу: «Сплачивать ядро... Как ни смыты, ни разрознены, ни рассеялись – но кто еще готов идти на смерть, не пригибая голову? ... Сколь бы мало нас ни сплотилось, – ни это правительство, ни Совет – не отнимут у нас последнего права: еще раз побиться!» (10, 554 – 555).

²⁰ Ср. Воротынцев: «Все это басни – о силе толпы: толпа всегда тем слаба, что дух ее не слит, рассогласован, и никто не хочет жертвовать первый. Ничего на

свете нет сильней одиночного человеческого духа, ибо он, обрека себя на жертву, может держаться без трещины» (4, 280 – 281).

Аннотация

В эпопее «Красное Колесо» А.И. Солженицын рисует историческую катастрофу России в XX в., но, несмотря на трагизм материала и бескомпромиссность оценок, книга заканчивается светом надежды. Статья представляет собой попытку рассмотреть богословские и антропологические основания такой надежды, связанной с «онтологической вертикалью», образующей вместе с исторической горизонталью в «Красном Колесе» своеобразную систему координат. В первой части «Жертва как путь теозиса» речь идет о центральной для православного богословия проблеме теозиса, обожения человека, данной в эпопее в образах генерала Самонова и царя Николая II, о связи теозиса с решимостью на жертву и с кенозисом. Во второй части «Антропология в свете Рождества» речь идет об антропологической составляющей надежды: теме рождения нового человека, живой личности, на фоне антропологической катастрофы обезличивания людей в ходе революции, теме рождения новой солидарности таких людей.

Ключевые слова: теозис, кенозис, жертва, антропология, Рождество, катастрофа, история, надежда, солидарность, Солженицын.

Summary

In *The Red Wheel* A. Solzhenitsyn describes the historical catastrophe of Russia in the 20th century, but in spite of tragic events and uncompromising description, the book ends with a light of hope. This article attempts to show the theological and anthropological foundations of this hope, concerned with the «ontological vertical line», which together with the historical horizontal line forms a kind of coordinate system in *The Red Wheel*. The first chapter «The sacrifice as a way of theosis» tells about the central problem of the orthodox theology – the problem of the theosis, of the deification of man, posed in text by the images of general Samsonov and Nicholas II, about the connection of theosis with the kenosis and with the resolution to sacrifice. The chapter «Anthropology in the light of the Christmas» speaks about the anthropological part of this hope: about the theme of the birth of a new person, of live personality, on the background of anthropological catastrophe of depersonalization during the revolution, of the birth of new solidarity of such people.

Keywords: theosis, kenosis, sacrifice, anthropology, Christmas, catastrophe, history, hope, solidarity, Solzhenitsyn.